

## НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

В первый раз мне пришлось его увидеть в конце пятидесятых годов на Невском, при встрече его с моим отцом. Я жадно всматривался в его желтоватое лицо и усталые глаза и вслушивался в его глухой голос: в это время имя его говорило мне уже очень многое. В короткой беседе разговор - почему, уже не помню - коснулся исторических исследований об Иване Грозном и о его царствовании, как благодарном драматическом материале. "Эх, отец! - сказал Некрасов (он любил употреблять это слово в обращении к собеседникам), - ну, чего искать так далеко, да и чего это всем дался этот Иван Грозный! Еще и был ли Иван-то Грозный?.." - окончил он, смеясь.

Осенью 1861 года я был на литературном вечере в память только что схороненного Добролюбова. Некрасов читал трогательные стихотворения покойного, еще не появившиеся в печати. Его глухой голос как нельзя более соответствовал скорбному тону того, что он выбрал для чтения: "Пускай умру - печали мало, одно страшит мой ум больной: чтобы и смерть не разыграла обидной шутки надо мной",-- говорил он, и казалось, что это - замогильный голос самого Добролюбова. Впечатление было сильное<sup>1</sup>. Мне пришлось опять слышать чтение Некрасова десять лет спустя, на вечере, устроенном М. Е. Ковалевским у себя, в пользу колонии для малолетних преступников. Тогда готовились к печати "Русские женщины"<sup>2</sup>, и этим произведением, отдельные места которого глубоко трогательны, поделился со слушателями Некрасов. Аудитория была изысканная в смысле умственного развития, и мне показалось, что он, всегда спокойный и сдержанный, читая, волновался, и по временам в его голосе слышались слезы. Другие подтвердили мое замечание. Очевидно было, что он, которого так часто упрекали в неискренности, прочувствовал и переживал душ ев-" но за княгиню Волконскую, и в особенности за Трубецкую, те нравственные страдания их, которые были им воспеты с такой силой и вместе простотой.

С начала 1872 года я стал довольно часто встречать Некрасова в доме его большого приятеля, Александра Николаевича Еракова (ему посвящено Некрасовым большое стихотворение "Недавнее время"), воспитанием дочерей которого руководила сестра Некрасова, Анна Алексеевна Буткевич. Ераков был живой, образованный, чрезвычайно добрый и увлекающийся человек, обладавший тонким художественным вкусом. В его гостеприимном доме любимыми посетителями были: Салтыков, Алексей Михайлович Унковский, Плещеев и Некрасов. Последний часто навещал сестру и приносил ей свои только что написанные стихотворения. Благодаря этому и моему близкому знакомству с семейством Ераковых, я читал почти все произведения Некрасова, появившиеся после 1871 года, еще в рукописи и иногда в первоначальном их виде. Некрасов очень любил сестру и относился к ней с большим вниманием и участием. В ее строгом лице, со следами замечательной красоты, были черты сходства с братом. Она, по-видимому, не прошла, однако, подобно ему, годов лишений и нравственных уколов, испытываемых человеком, стоящим на границе, за которую начинается уже несомненная и неотвратимая нищета, грозящая бесповоротно увлечь "на дно". Поэтому "борьба за существование" меньше отразилась на ней, на ее статной и изящной фигуре, на цвете ее лица. Некрасов приезжал к Ераковым в карете или коляске, в дорогой шубе, и подчас широко, как бы не считая, тратил деньги, но в его глазах, на его нездорового цвета лице, во всей его повадке виднелось не временное, преходящее утомление, а застарелая жизненная усталость и, если можно так выразиться, *надорванность* его молодости. Недаром говорил он про себя: "Праздник жизни - молодости годы - я убил под тяжестью труда..."<sup>3</sup>

Мы возвращались как-то, летом 1873 года, вдвоем из Ораниенбаума, где обедали на даче у Еракова. На мой вопрос, отчего он не продолжает "Кому на Руси жить хорошо", он ответил мне, что, по плану своего произведения, дошел до того места, где хотел бы поместить наиболее яркие картины из времен крепостного права, но что ему нужен фактический материал, который собирать некогда, да и трудно, так как у нас даже и недавним прошлым никто не интересуется. "Постоянно будить надо,-- без этого русский человек способен позабыть и то, как его зовут", - прибавил он. "Так вы бы и разбудили, кликнув клич между знакомыми о доставлении вам таких материалов, - сказал я. - Вот, например, хотя я и мало знаком с жизнью

народа при крепостных отношениях, а, думается мне, мог бы рассказать вам случай, о котором слышал от достоверных людей..."

- А как вы познакомились с русской деревней и что знаете о крепостном праве? - спросил меня Некрасов.

Я рассказал ему, что в отрочестве мне пришлось провести два лета вместе с моими родителями в Звенигородском уезде Московской губернии и в Вельском уезде Смоленской. В последнем я видел несколько безобразных проявлений крепостного права со стороны семьи одного помещика, не чуждого, в свое время, литературе. Гораздо ближе познакомился я с русским сельским бытом, когда, будучи московским студентом, жил летом 1863 года "на кондициях" в Пронском уезде Рязанской губернии, в усадьбе Паныкино, в семействе бывшего профессора А. Н. Драшусова, младшего сына которого готовил к поступлению в гимназию и дочери которого давал впоследствии в Москве уроки.<...>

Я бывал в заседаниях волостного суда и на сельских сходках, бродил подолгу с крестьянином-охотником Данилой и просиживал с ним до рассвета в лесу, "подвывая" волков, на что он был большой мастер, и вел долгие беседы со сторожем волостного правления, прозвище которого, к сожалению, теперь не помню. Его звали Николай Васильевич. Это был высокий старик с шапкою седых волос и подслеповатыми глазами, ездивший в Москве в извозчиках еще до того, как туда "приходил француз". Большой любитель моих папирос, словоохотливый старик подолгу рассказывал мне о прошлом, вплетая в свои рассказы, без всякой предвзятой мысли, яркие картины из крепостной эпохи. Он не видел во мне "барина" и относился поэтому ко мне с полным доверием, которое поколебалось лишь однажды. "Тебе какое же, родимый, положение идет за то, что ты учишь барчука?" - полюбопытствовал он узнать. "Двадцать рублей". - "В год?" - "Нет, в месяц". - "Ой ли?! Да за что же это так много?" - "Как за что? Занимаюсь с ним, готовлю в гимназию. Вот скоро ему будет в Москве экзамен". - "Ну, а ешь-то ты что? То же, что господа?" - "Конечно! Что же мне другое есть, когда я с ними и обедаю и ужинаю",-- "С ними?!" - сказал он недоверчиво и потом решительно прибавил: - Врешь ты, родимый!.." Из его слов я увидел, как иногда в прежнее время, - но, конечно, не в семье Драшусовых - смотрели на учителя. "А где ж ты там, парень, живешь? - спросил он меня в другой раз. - В господском доме?" - "Нет, я живу отдельно, на дворе, в комнате при старой бане. Мне там очень хорошо: тихо, просторно и никто не мешает. Я там и уроки даю". - "В бане? - задумчиво сказал старик. - И тебе не боязно? Она-то по ночам не ходит? Не пугает тебя?" - "Кто она? Какая она?" - "Да ведь тут у нас в старые годы, давно уж тому, помещица была, лихая такая: девкам дворовым от нее житья не было. Очень уж она на одну серчала. Косу ей обрезать велела, и другое разное такое - совсем со свету сживала. Та возьми да с горя и удавись. Суд приехал. В бане ее и "коронили" - значит, потрошили. А к чему это - неизвестно. А потом схоронили за оградой, потому что руки на себя наложила. После нее сундучок с вещами остался, а она была сирота. Так сундучок-то поставили на чердак в бане. Вот у нас на селе и бают, что она по ночам ходит сундук свой смотреть. Ну, как же не боязно?!" Выслушав это, я понял, почему прислуга, когда я вечером желал остаться у себя (я готовился к отложенному на осень экзамену у Бабста из политической экономии и статистики и внимательно изучал Рошерафа, принося мне чай или молоко, ставила их на крыльчке и, постучав в окно, быстро удалялась, несмотря на то, что дне" любила заходить ко мне и побеседовать с *учителем*. Вернувшись к себе, я пошел на чердак и в углу его действительно увидел покрытый пылью старый небольшой сундучок, перевязанный веревкой и запечатанный печатью пронского земского суда. Нужно ли говорить, что в первую же затем ночь мое нервно настроенное воображение заставило меня услышать чьи-то шаги на чердаке? Но затем молодость взяла свое, и несчастная самоубийца уже не тревожила мой крепкий сон.

В другой раз тот же старик рассказал мне с большими подробностями историю другого местного помещика, который зверски обращался со своими крепостными, находя усердного исполнителя своих велений в своем любимом кучере - человеке жестоком и беспощадном. У помещика, ведшего весьма разгульную жизнь, отнялись ноги, и силач кучер на руках вносил его в коляску и вынимал из нее. У сельского Малюты Скуратова был, однако, сын, на котором отец сосредоточил всю нежность и сострадание, не находимые им в себе для других. Этот сын задумал жениться и пришел вместе с предполагаемой невестой просить разрешения на брак. Но последняя, к несчастью, так приглянулась помещику, что тот согласия не дал. Молодой

парень затосковал и однажды, встретив помещика, упал ему в ноги с мольбою, но, увидя его непреклонность, поднялся на ноги с угрозами. Тогда он был сдан не в зачет в солдаты, и никакие просьбы отца о пощаде не помогли. Последний запил, но недели через две снова оказался на своем посту, *прощенный* барин, который слишком нуждался в его непосредственных услугах. Вскоре затем барин поехал куда-то к соседям со своим Малютою Скуратовым на козлах. Почти от самого Панькина начинался глубокий и широкий овраг, поросший по краям и на дне густым лесом, между которым вилась заброшенная дорога. На эту дорогу, в овраг, называвшийся Чертово Городище, внезапно свернул кучер, не обративший никакого внимания на возражения и окрики сидевшего в коляске барина. Проехав с полверсты, он остановил лошадей в особенно глухом месте оврага, молча, с угрюмым видом, - как рассказывал: в первые минуты после пережитого барин, - отпряг их и отогнал ударом кнута, а затем взял в руки вожжи. Почуввав неминуемую расправу, барин, в страхе, смешивая просьбы с обещаниями, стал умолять пощадить ему жизнь. "Нет!-- отвечал ему кучер,-- не бойся, сударь, я не стану тебя убивать, не возьму такого греха на душу, а только так ты нам солон пришелся, так тяжело с тобой жить стало, что вот я, старый человек, а через тебя душу свою погублю..." И возле самой коляски, на глазах у беспомощного и бесплодно кричавшего в ужасе барина, он влез на дерево и повесился на вожжах.

Выслушав мой рассказ, Некрасов задумался, и мы доехали до Петербурга молча. Он предложил мне довезти меня в своей карете на Фурштатскую, где я жил, и, когда мы расставались, сказал мне: "Я этим рассказом воспользуюсь",-- а через год прислал мне корректурный лист, на котором было набрано: "О Якове верном - холопе примерном"<sup>4</sup>, прося сообщить, "так ли?". Я ответил ему, что некоторые маленькие варианты нисколько не изменяют существа дела, и через месяц получил от него отдельный оттиск той части "Кому на Руси жить хорошо", в которой изображена эта пронская история в потрясающих стихах.

Мне пришлось несколько раз посетить Некрасова в доме Краевского на Литейной и раза два у него обедать в обществе сотрудников "Отечественных записок", где всех оживлял своими веселыми и образными рассказами покойный "друг писателей" Михаил Александрович Языков. Юмор и подвижность его были особенно ценны ввиду его весьма преклонного возраста, а память его просто поражала способностью хранить в себе многое из давно-давно прошедшего. Иногда на вопрос удивленного собеседника: "А сколько вам, Михаил Александрович, лет?" - он, с комической важностью, горделиво отвечал, пародируя знаменитые слова Людовика XIV: "L'état c'est moi!" {Буквально: "Государство - это я" (*франц.*). Здесь игра след; L'état (государство) произносится, как русское "лета". (*Прим. А. Ф. Кони.*)} За этими обедами мне пришлось слышать весьма интересные рассказы хозяина о литературных нравах конца сороковых и первой половины пятидесятых годов и о тех невероятных, но вместе с тем достоверных издевательствах цензуры над здравым смыслом и трудом писателя в те времена, когда "жизнь была так коротка для песен этой лиры,-- от типографского станка до цензорской квартиры"<sup>5</sup>, и когда поэт отвечал типографскому рассыльному Минаю, приносившему корректуру, испещренную красными крестами и говорившему: "Сойдет-де и так", - "Это кровь <...> проливается! Кровь моя, - ты дурак!"<sup>6</sup>

Тогда же я познакомился с будущей женою Некрасова, Феклой Анисимовной, которую он называл более благозвучным уменьшительным именем Зины и к которой обращены многие его предсмертные стихи, полные страдальческих стонов и нежности. От нее веяло душевной добротой и глубокой привязанностью к Некрасову. За обедом, где из женщин присутствовала она одна, Некрасов, передававший какое-нибудь охотничье приключение или эпизод из деревенской жизни, прерывал свой рассказ и говорил ей ласково: "Зина, выйди, пожалуйста, я должен скверное слово сказать",-- и она, мягко улыгнувшись, уходила на несколько минут. Однажды, сообщая мне о том, что он начал ездить, в сопровождении Зины, в водолечебницу доктора Крейзера в Адмиралтейство, он сказал: "После моей водяной операции мы обыкновенно сидим некоторое время на Адмиралтейском бульваре. Это совпадает с временем обычной прогулки государя по набережной Невы, причем, незаметно для него, ему предшествуют и его сопровождают агенты тайной полиции, проживающие в здании Адмиралтейства. Мы уже привыкли их видеть выходящими на службу. Однажды один из них вышел в сопровождении жены с ребенком на руках и, помолвившись на собор Исаакия, нежно поцеловал жену и перекрестил ребенка. Это очень растрогало Зину. "Ведь вот, - сказала она, - шпионина, а душу в себе имеет человечью!" Вдова Некрасова после его смерти жила в

уединении, в самой скромной обстановке в Саратове, в последнее время нуждаясь и стойко замыкаясь в себе против назойливых покушений разных репортеров. Она умерла в 1914 году<sup>7</sup>, свято чтя память своего мужа.

Иногда Некрасов обращался ко мне с просьбою о совете по тому или другому литературному делу, которое, в дальнейшем своем развитии, могло грозить осуществлением в реальной действительности того, что с таким юмором изобразил он в своем остроумном стихотворении "Суд". У меня сохранилось его письмо от 3 апреля 1873 года. "Разрешите, пожалуйста,-- писал он, - *должны ли мы* напечатать прилагаемое объяснение судьи Загибалова? И может ли выйти что-либо неприятное для редактора (в случае, если б мировой судья, не видя объяснения напечатанным, принес жалобу) или нет? <...> Надо заметить, что судья этот, должно быть, скотина старых приказных времен, ибо наполнил свою заметку кляузами и бранью, которые я откинул. <...> Ответ ваш необходим *сегодня*. <...> Очень обяжете. <...> Искренно преданный Вам Н. Некрасов"<sup>8</sup>.

У Некрасова было много врагов, и на его счет распространялись самые злоречивые слухи, сосредоточиваясь главным образом на его крупных выигрышах в карты в Английском клубе. Порожденные этими слухами легенды живут, к сожалению, и по настоящее время в обществе. "Calomniez, calomniez - il en restera toujours quelque chose!" {"Клеветайте, клеветайте - что-нибудь да останется!" (франц.).} По этому поводу мне пришлось однажды иметь большую беседу с самим Некрасовым.

В 1874 году сильное впечатление в Петербурге произвело возбуждение мною, по должности прокурора, дела о штабс-ротмистре Колеmine, содержавшем игорный дом и завлекавшем к себе роскошным угощением обыгрываемую им молодежь, причем выигрышу велась правильная бухгалтерская запись. Ввиду полной изболченности Колемина, я предложил судебному следователю наложить на основании 512-й статьи XIV тома арест на деньги Колемина, хранившиеся на текущем счету в Волжско-Камском банке в сумме 49 500 рублей и представлявшие, согласно составленным Колеминым записям, чистый его выигрыш. Арест был наложен, и суд утвердил эту меру. Кто-то, по невежеству юридическому, а может быть, с дурным и злорадным умыслом, уверил Некрасова, будто бы достоверно известно, что я намерен возбудить дела о всех лицах, выигравших крупные суммы в общественных собраниях и клубах, и предложить суду отобрать у них эти деньги для обращения их в пользу колонии и приюта для малолетних преступников в окрестностях Петербурга. Встревоженный Некрасов, сознававший, что такая мера могла бы губительно отразиться на средствах для издания "Отечественных записок", как-то рано утром пришел ко мне и просил откровенно сказать, грозит ли ему такая опасность. Я, конечно, его разуверил и постарался рассеять его опасения, объяснив всю нелепость дошедшего до него слуха. При этом я подробно рассказал ему про поводы к возбуждению дела о Колеmine и выяснил ему, *что именно* понимает закон под словами "устройство игорного дома" и как он исторически сложился. Некрасов успокоился и, долго просидев у меня, подробно рассказал мне, как образовались его значительные средства, возбуждавшие в столь многих ожесточенную зависть. В своем повествовании, довольно беспощадном к самому себе, он раскрыл предо мною болезненную психологию человека, одержимого страстью к игре, непреодолимо влекущую его на эту рискованную! борьбу между счастьем и опытом, увлечением и выдержкой, запальчивостью и хладнокровием, где главную роль играет не выигрыш, не приобретение, а своеобразное сознание своего превосходства и упоение победы...

<...> Во время долгой и тяжелой предсмертной болезни Некрасова я был у него несколько раз и каждый раз-с трудом скрывал своё волнение при виде того беспощадного разрушения, которое совершал с ним недуг. Последнее время он мог лежать только ничком, в очень неудобной позе, под одной простыней, которая ясно обрисовывала его страшно исхудалое тело. Голос был слаб, дрожащая рука - холодна, но глаза были живы, и в них светилось все, что оставалось от жизни, истерзанной страданием. В последний раз, когда я его видел, он попенял мне, что я редко к нему захожу. Я отчасти заслужил этот упрек, но я знал от его сестры, что посещения его утомляют, и притом был в это время очень занят, иногда не имея возможности дня по три подряд выйти из дому. На мои извинения он ответил, говоря с трудом и тяжело переводя дыхание: "Да что вы, отец! Я ведь это так говорю, я ведь и сам знаю, что вы очень заняты, да и всем живущим в Петербурге всегда бывает *некогда*. Да, это здесь роковое

слово. Я прожил в Петербурге почти сорок лет и убедился, что это слово - одно из самых ужасных. Петербург - это машина для самой бесплодной работы, требующая самых больших - и тоже бесплодных - жертв. Он похож на чудовище, пожирающее лучших из своих детей. И мы живем в нем и умираем, не живя. Вот я умираю - а, оглядываясь назад, нахожу, что нам *все и всегда было некогда*. Некогда думать, некогда чувствовать, некогда любить, некогда жить душою и для души, некогда думать не только о счастье, но даже об отдыхе, и только *умирать есть время...*"

### Примечания

Прогрессивный судебный деятель, литератор, публицист Анатолий Федорович Кони (1844--1927) поддерживал отношения с Некрасовым с начала 70-х годов, когда давал ему консультации по юридическим вопросам, связанным с его редакторской деятельностью. Имя Некрасова, который в 40-е годы активно сотрудничал в изданиях отца А. Ф. Кони - Ф. А. Кони - "Литературной газете", "Пантеоне и репертуаре...", стало ему рано известным. "Еще в раннем детстве, когда ни о каком знакомстве моем с поэзией Некрасова не могло быть и речи... я уже интересовался им по рассказам своего отца..." - вспоминал мемуарист (А. Ф. Кони, Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6, М. 1968, стр. 258). В студенческие годы Кони был знаком и с произведениями Некрасова. Не будучи приверженцем революционно-демократической программы "Современника", Кони высоко ценит в поэзии Некрасова мотивы "мести и печали", пафос обличения, отрицания крепостнического режима. Он считает великой заслугой поэта то, что он вызывал "сочувствие к простому русскому человеку и веру в жизненность его духовных сил" (там же, стр. 257).

Первоначально чисто деловые отношения затем стали дружескими. Этому способствовало незаурядное дарование Кони, его живой ум, широта интересов, высокая культура, его служебное и общественное положение, позволявшее ему выполнять разного рода просьбы многих русских писателей. Известно, что рассказы Кони из своей судебной, жизненной практики послужили источником для ряда литературных сюжетов. Некрасов воспользовался в "Кому на Руси жить хорошо" одним из рассказов Кони для создания песни "Про холопа примерного - Якова верного".

А. Ф. Кони много сделал для увековечения памяти Некрасова. После смерти А. А. Буткевич, сестры поэта, он сохранял рукописи поэта. В 1883 году, советуя А. Н. Пыпину написать "биографию Некрасова и исследование о значении его", он предлагал поделиться своими сведениями о поэте, писал ему: "Я лично из выдающихся бесед с ним могу указать на долгий разговор по поводу воздвигнутого мною во время оно гонения на рулетку в Петербурге - и на генезис отрывка "О Якове верном - холопе примерном" в последней части его "Кому на Руси жить хорошо" (ГПБ, ф. 621, ед. хр. 410, л. 11 об). Эти два эпизода - в центре воспоминаний Кони о Некрасове.

Воспоминания Кони о Некрасове были впервые опубликованы в "Вестнике Европы" (1908, No 5). К 100-летию со дня рождения поэта воспоминания были автором переработаны и дополнены и в новой редакции напечатаны в книге: А. Ф. Кони, Некрасов. Достоевский. По личным воспоминаниям, Пг. 1921.

Печатается с сокращениями по изданию: А. Ф. Кони. Собр. соч. в восьми томах, т. 6, "Юридическая литература", М. 1968, стр. 259--261, 262--267, 269.

<sup>1</sup> Стр. 363. Некрасов читал на вечере в пользу "недостаточных учащихся" 2 января 1862 г. не опубликованные в то время стихотворения Добролюбова "Жалоба ребенка", "Сон", "Соловей", "Пускай умру - печали мало..." и др.

<sup>2</sup> Стр. 363. Поэма "Русские женщины" впервые печаталась по частям: "Княгиня Трубецкая" - ОЗ, 1872, No 4, "Княгиня М. Н. Волконская" - ОЗ, 1873, No 1.

<sup>3</sup> Стр. 364. Первые строки стихотворения, написанного в 1855 г.

<sup>4</sup> Стр. 367. Название неточно. Надо: "Про холопа примерного - Якова верного".

<sup>5</sup> Стр. 367. Из стихотворения Н. А. Некрасова "Поэт" (цикл "Песни о свободном слове").

<sup>6</sup> Стр. 368. Из стихотворения "До сумерек" (цикл "О погоде").

<sup>7</sup> Стр. 368. Фекла Анисимовна Викторова ("Зина") умерла в 1915 г.

<sup>8</sup> Стр. 369. Объяснение казанского судьи Загибалова было вызвано статьей Н. Демерта (ОЗ, 1872, No 10), в которой говорилось, что этот судья оштрафовал казанского кухмистра за распространение "бесцензурной литературы", оказавшемся списком блюд. Объяснение Загибалова, видимо, по совету Кони, было напечатано: ОЗ, 1873, No 4.